

чувством; но история их шестидесятилетних отношений — особая тема). Во многом автор прав. Шкловский, член боевой организации эсеров, человек невероятной храбрости, в 30-е годы действительно стал другим — он уже в 20-е годы становился другим, когда жил в чинном Берлине и сам удивлялся: «Езжу в трамваях и не хочу перевернуть их» («ZOO»). Он был единственным из опоязовцев, кто печатно каялся, и не раз (устно Виктор Борисович объяснял это тем, что у него были «большие хвосты»: эсэровское прошлое). И все же.

У Чехова в письмах говорится, что один из сыновей Ноя заметил только то, что Ной был пьяница. А Ной был гениален, он построил ковчег. В книге Каверина утрачено ощущение масштаба фигуры Шкловского, который, думаю, был одной из заметнейших личностей нашего столетия. Сдача Шкловского не была прямой сдачей и отречением. В его поздних книгах читатель найдет многое из прежних опоязовских идей, главные из которых он никогда не считал научной ошибкой. Гораздо более точные слова о Шкловском принадлежат самому Каверину в книге, написанной на десять лет позже «Эпилога». В ней Каверин написал о своем старом учителе, что он жил, «многократно изменяясь и оставаясь самим собой, вводя в литературу новые понятия и зачеркивая старые, двигаясь вперед вместе с историей нашей культуры, сдаваясь, когда не было ни малейшей возможности обороняться, и снова нападая, когда возможность или видимость этой возможности вновь появлялась» («Литератор». М. 1988).

Морализаторский налет ощущается и в оценках книги Солженицына «Бодался телёнок с дубом» как «нескромной», где автор «сосредоточился на себе самом».

В книге «Здравствуй, брат. Писать очень трудно» Каверин вспомнит: «Когда-то, в начале тридцатых годов, мне казалось, что для того, чтобы изобразить то необычное время, в которое мы живем, и изобразить так, чтобы читатель понял и принял книгу, нужно отказаться от задач чисто литературных». В «Эпилоге» снова главной станет не литературная, а свидетельская задача, слово свидетеля и необыкновенного труженика литературы, несмотря ни на что, написавшего в послесловии к этой книге о любви людей, «понимающих друг друга с полуслова (подчас незнакомых), вкладывающих глубокий разносторонний смысл в понятие «порядочность», которая исключает предательство и подлость», о «потаенной нити, незримо связывающей тех, кто действует в подлинной, немакетной литературе».

Каверин любил это рассказывать и повторил в «Эпилоге»: «Когда я бывал у Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине, он не провожал меня до выходных дверей (надо было спускаться по лестнице), а выходил на балкон, провозглашая с неизменным, поучительным выражением: „В России надо жить долго. Долго!“».

Он жил долго. Он дожил и рассказал то, о чем мог и хотел рассказать он, Вениамин Александрович Каверин, последний Серапион.

А. ЧУДАКОВ.

\*

### Политика и наука

#### РЯД МОЗАИЧНЫЙ И ПРЕРЫВИСТЫЙ...

Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М. «Современник». 1989. 735 стр.

Вспомним «Скучную историю», один из самых печальных чеховских рассказов: голос разочарованного во всем профессора Николая Степановича приобретает неожиданно теплые интонации и даже благоговейность всякий раз, когда он говорит о своих студентах и об университете. Сентиментальность старого ученого? Тот же Чехов записал легенду о Фете, который якобы не мог проехать мимо университета без того, чтобы не плюнуть в его сторону. Странная причуда поэта? Недоумения вызваны скорее всего тем, что мы утратили непосредственную связь с этим не таким уж дав-

ним временем. Нас часто обманывает одноименность реалий и институций прошлого века и нашего: «литература», «интеллигенция», «суд», «цензура»... Вот и университет — чем он был в прошлом веке?

Сборник воспоминаний, пожалуй, дает все необходимое для ответа. Составитель выбрал правильный путь, смешав и официальные документы, и частные письма, и случайные заметки, и обстоятельные мемуары. Среди свидетелей университетской истории и гордость национальной культуры (А. И. Герцен, И. А. Гончаров, К. С. Аксаков, В. О. Ключевский, А. А. Фет, Я. П. По-

лонский, С. М. Соловьев...), и люди практически безвестные. Равное внимание к голосам «больших» и «малых» и делает сборник многоцветной картиной жизни образованной Москвы. Философские и политические рассуждения, литературные пассажи, выразительные портретные зарисовки, драгоценные мелочи, много говорящие о быте и нравах старой России, — все это не только утоляет жажду любителя истории, но и складывается в нечто целое, сообщающее читателю гораздо больше, чем просто совокупность документальных фрагментов. Например, выстраивается ряд основных исторических событий в биографии Московского университета, ряд мозаичный и прерывистый, но зато без унылой псевдообъективности. Возникают общие контуры университетской научной жизни (здесь особенно повезло исторической науке, о которой рассказывает значительная часть воспоминаний).

Конечно, есть за что упрекнуть составителя. Ю. Н. Емельянов безусловно прав, отказываясь от погони за полнотой и выбирая, по его словам, принцип яркости свидетельств, но все же общий тон сборника мог бы быть менее юбилейным. История Московского университета драматична, полна вывихов и изломов (что отражено в помещенных здесь воспоминаниях как бы между прочим). Сейчас, когда хочется восстановить в памяти все, что сделало нашу историю, по выражению Чаадаева «важным уроком для отдаленных поколений», этот исторический опыт, может быть, нужнее, чем перечень триумфов университетской науки. Бедно представлены в сборнике предреволюционные десятилетия, так что последняя хронологическая граница — 1917 — оказывается чистой условностью. Вряд ли можно обвинить составителя в недооценке этого периода. Основная часть книги демонстрирует историческую интуицию Ю. Н. Емельянова. Скорее всего он решил облегчить себе задачу, лишь обозначив эту невероятно насыщенную событиями и идеями эпоху.

«Оптимизм» сборника во многом объясняется тем, что едва ли не половина его объема отдана воспоминаниям о 40-х годах прошлого века, когда университет переживал духовный расцвет. Вот что пишет И. А. Гончаров: «Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились

своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение... Эти симпатии вливали много тепла и света в жизнь университетского юношества... Свободный выбор науки, требующий сознательного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождающееся из того определение своего будущего призвания — все это захватывало не только ум, но и всю молодую душу».

Неужели перед нами николаевская Россия? Действительно, и подъем национального самосознания, и активная интеллектуальная жизнь московских кружков, и особая атмосфера становления великой литературы — все это способствовало процветанию университета. «И слава богу: умное было начальство», — добавим словами И. А. Гончарова, к которым присоединяются и многие другие мемуаристы. С. С. Уваров, министр народного просвещения с 1833 по 1849 год, сумел, искусно маневрируя, создать в Московском университете островок относительной духовной независимости. И хотя комментарий к сборнику ставит на место восторженных мемуаристов, напоминая, что Уваров был автором реакционного курса «официальной народности», приходится признать, что уваровское министерство было, возможно, самым мудрым покровителем университета за всю его историю. Вот еще одно свидетельство: «В то время, когда я вступил в Московский университет, он находился в самой цветущей поре своего существования. Все окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились в таком счастливом сочетании, как никогда в России не бывало прежде и как может быть, никогда уже не будет впоследствии... Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в университете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. Это действительно была *alma mater*, о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной признательности... Московский университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет, распространявший лучи свои повсюду, на который обращены были все взоры». Это слова Б. Н. Чичерина, одного из умнейших людей своего времени, наследника традиций Грановского.

Как ни парадоксально, светлые времена университета закончились тогда, когда общество в целом вступило в эпоху освободительных реформ. Великий замысел Ломоносова и Шувалова, усилия дипломатического Уварова — все это не выдержало натиска инертной русской реальности, с одной стороны, и революционной стихии — с другой.

Крупные университетские деятели поза-нейшего времени уже не могли противостоять этим силам: Б. Н. Чичерин был вынужден покинуть университет в знак этического протеста, С. Н. Трубецкой до последнего дня вел изнурительную борьбу за свободу университета... Ширинский-Шихматов, сменивший Уварова на посту министра, запретил философию, произнеся знаменитую фразу: «Полезность философии не доказана, а вред от нее возможен». Если кому-то его тезис покажется курьезом, пусть вспомнит, что принцип этот действует и по сей день, если только не считать философией то «безвредное», что преподается с наших официальных кафедр.

И все же идея университета как духовного центра общества, отделившись каким-то образом от своей социальной плоти, оставалась живой еще долгое время (и хочется надеяться, что может ожить снова). Не этим ли объясняется тот внешне ничем не детерминированный расцвет научно-педагогической деятельности вокруг группы московских и петербургских профессоров, который спровоцировал их высылку в 1922 году? Ведь их новой аудиторией была разбуженная революцией молодежь «из народа», которая не торопилась сделать выбор и искала истину вне идеологических понуканий. Принцип «всесословности», заложенный еще Ломоносовым, проявился здесь стихийно, но не без связи с традицией, закрепленной в лучшие годы университета.

Сейчас нам нужны определенные усилия, чтобы понять, чем университет отличается от других «учреждений», чем он может стать и чем должен быть в обществе. XX век стал для самой идеи университета веком испытания (не только в нашей стране), и многие аксиомы Просвещения не кажутся теперь столь уж безусловными. Пожалуй, университет выдержал это испытание. Он показал, что может стать уникальным духовным социумом, где занятия наукой сочетаются с обучением молодежи, где различные науки находят «модус вивенди», трудно достижимый в чисто теоретических формах, где замкнутость корпорации не противоречит открытости миру и времени, где, наконец, община учителей и учеников самим своим существованием становится моральной и тем самым политической силой, облагораживающей общество. Разумеется, речь идет об идеальной модели, но именно она оказывается иногда более реальной силой, чем иная прочно коренящаяся в обыденной почве действительность. Это находит подтверждение в книге.

Кажется, современное общество в известной мере подготовлено к возрождению

идеи университета. Мы легко соглашаемся с тем, что фундаментальные исследования в конечном счете оказываются выгодней чисто прикладных; что, говоря словами Ф. Бэкона, светлосность эффективнее плодосности. Мы понимаем, что узкая специализация грозит не только научными, но и моральными, если не антропологическими, утратами. Попытки гуманитаризации высшего образования и (весьма редкие) попытки ликвидации естественнонаучной безграмотности гуманитариев, предпринимаемые сейчас, говорят о созревшем ощущении неполноценности «подготовки специалистов». Уже почти реабилитировано слово «элита», и мы начинаем понимать, что демократии противоречит кастовость, а не элитарность (более того: элита нужна именно демократии, потому что априорные привилегии несовместимы с ней, а свободный отбор требуемых и культивируемых качеств ей необходим). Однако многие ценности университетской культуры по-прежнему встречают какое-то сопротивление в нашем сознании.

Конечно, Московский университет XIX века не был ни «храмом науки», ни «республикой ученых». В этом отношении ему далеко до средневековых университетов XIII века. Постоянное вмешательство властей, тотальная слежка, жесткий контроль цензуры, консервативность и невысокий культурный уровень значительной части профессуры, интриганство... Все эти следствия внутренней и внешней несвободы были присущи университетской жизни; да и не могли застарелые болезни русского общества миновать университет. Тот список сияющих имен ученых, который университет мог бы предъявить в свое оправдание, появился скорее вопреки, чем благодаря. Но при всем этом наличествовала, так сказать, субстанция университета. Сущность была извращена, но она по крайней мере существовала. Нам же приходится восстанавливать саму идею университета как особой формы духовного бытия, и вряд ли здесь стоит надеяться на быстрые успехи.

Потребуется труд, опыт и время для того, чтобы понять необходимость автономии университета. Ведь он не может иначе выполнять свое предназначение — искать новое, а не перерабатывать заранее известное. Автономные университеты так же необходимы современному обществу, как независимые монастыри были нужны для духовного здоровья средневекового общества. Не скоро будет ясно осознано и то, что свободо-мыслие, этот драгоценный плод человеческой истории, нужно не подавлять, а культивировать, ибо оно не угрожает обществу,

а защищает его от одержимости абстракциями и от рабской тупости, и что студенческая община — самый благодатный предмет для таких забот. Основательно забыто, что было известно еще авторам древних Упанишад: знание есть результат индивидуального общения учителя и ученика, а не безличной передачи информации, и, следовательно, не надо жалеть сил и времени на подлинные формы обучения. Такие явно враждебные духу высшей школы принципы, как изоляция от Запада, поощрение политической пассивности и покорности, формальная и содержательная унификация мышления, вот-вот уйдут в прошлое. Но еще не осознано (и едва ли скоро будет осознано) особое призвание университета к сохранению чистоты незаинтересованного теоретического взгляда на мир. Где как не

в университете воспитывать эту столь же моральную, сколь и научную способность отличать идеи от идеологии, беспристрастность от безразличия, полемику от перепалки?

Как знать — может быть, сборник воспоминаний об университете окажется в этом смысле полезнее и важнее, чем педантично написанная его история? В слове «воспоминание» есть что-то говорящее о незаключенности, о продолжении жизни в памяти, окрашенной личным отношением к былому. Читая эти мемуары, многие, наверное, приобретут немного эпического спокойствия или, что то же самое, почувствуют себя менее одинокими.

**Александр ДОБРОХОТОВ,**  
кандидат философских наук.